

# Весь Марсель Пруст

## Пленница

### Глава первая. Совместная жизнь с Альбертиной

С самого утра, когда голова моя была еще обращена к стене, и раньше, чем я замечал, какого тона световая полоска над большими оконными занавесками, я знал уже, какая сегодня погода. Первые уличные шумы сообщали мне о ней, доходя до меня то заглушенными и отклоненными сыростью, то вибрирующими как стрелы в звонком и пустом воздухе просторного, морозного и ясного утра: по грохотанию первого трамвая я различал, простужен ли он дождем или весело мчится в лазурь. Может быть, шумы эти в свою очередь предварялись своего рода излучением, более стремительным и глубоко проникающим, которой, проскользнув в мой сон, разливало в нем печаль, предвестницу снега, или побуждало некое крохотное переменчивое созданище внутри меня так громко распевать несчетные гимны во славу солнца, что еще во сне я начинал улыбаться с закрытыми глазами, предвкушая ослепительный свет, и в заключение просыпался, совсем

оглушенный музыкой. Впрочем, в этот период всю внешнюю жизнь я воспринимал главным образом из своей комнаты. Блок, я знаю, рассказывал, как, придя однажды вечером навестить меня, он слышал словно обрывки разговора; так как моя мать была в Комбре и Блок никого не заставал в моей комнате, то он заключил, что я разговариваю сам с собой. Узнав гораздо позже, что в то время со мной жила Альбертина, и сообразив, что я заботливо прятал ее от всех, он объявил, будто понял наконец, почему в этот период моей жизни я наотрез отказывался выходить из дому. Он ошибся, причем его ошибка вполне извинительна, потому что действительность невозможно предусмотреть сполна, даже если заблуждение неизбежно. Лица, узнающие какую-нибудь точную подробность о нашей жизни, тотчас выводят из нее следствия, которых нет на самом деле, и усматривают во вновь открытом факте объяснение вещей, как раз не имеющих к нему никакого отношения.

Когда я думаю теперь о том, как подруга моя по нашему возвращении из Бальбека поселилась в Париже под одной кровлей со мной, как она отказалась от мысли совершить поездку по морю, как занимала комнату в двадцати шагах от моей, в конце коридора, в ковровом кабинете моего отца, и как каждый вечер, в поздний час, прощаясь со мной, вкладывала мне в рот язык, словно хлеб

насущенный, словно живительную пищу, обладающую почти священными качествами каждой плоти, которую страдания, перенесенные нами из-за нее, в заключение наделяют своего рода духовной сладостью, — то с этим прежде всего напрашивается на сравнение не та ночь, которую разрешил мне провести в казарме князь Бородинский в знак своей особенной милости, облегчившей в общем лишь весьма мимолетное мое недомогание, но та, когда мой отец велел маме лечь спать в кроватке рядом со мной. Так жизнь, если ей лишний раз суждено избавить нас от страдания, с виду неизбежного, совершает это избавление в различных условиях, иногда настолько противоположных, что кажется почти святотатством констатировать тожество дарованной благодати!

Когда Альбертина узнавала от Франсуазы, что в темноте моей комнаты со спущенными еще занавесками я не сплю, она без стеснения плескалась и возилась, умываясь в своей туалетной. В таких случаях я часто, не дожидаясь более позднего часа, шел в смежную с этой туалетной ванную, вид которой был так приятен. В прежние времена директора театров тратили сотни тысяч франков на украшение настоящими изумрудами трона в пьесе, где дива играла роль императрицы. Русские балеты открыли нам, что простая игра разноцветных лучей,

направленных куда следует, расточает драгоценности столь же пышные и более разнообразные. Эти невещественные декорации не являются, однако столь привлекательными, как декорация, которой солнце в восемь часов утра заменяет ту обстановку, что мы привыкли там видеть, вставая с постели только в полдень. Чтобы нельзя было заглядывать к нам со двора, окна обеих наших умывальных были не гладкие, но изборозжденные искусственным старомодным инеем. Солнце вдруг желтило этот стеклянный муслин, золотило его и, тихонько пробуждая во мне прежнего юношу, давно уже усыпленного привычкой, пьянило меня воспоминаниями, создавая иллюзию, будто я нахожусь на лоне природы перед золотистой листвой, в которой распевает даже пташка. Ибо я слышал, как Альбертина без услали насвистывала:

Горести наши шалуны,  
Глупец, кто послушает их.

Я слишком любил Альбертину, чтобы весело не улыбнуться при этом проявлении ее дурного музыкального вкуса. Песенка эта прошлым летом приводила и восторг г-жу Бонтан; когда же она узнала вскоре, что попалась впросак, то стала просить Альбертину, если у нее собирались гости,

спеть о том, как ручьи

от горя помутились,  
Разлуки песнь журча;

в свою очередь и эта ария обратилась в «затасканный мотив Массне, которым моя девочка прожужжала всем уши».

Проходило облако, солнце скрывалось, и я видел, как гаснет и снова делается серой целомудренная и густая стеклянная завеса.

Перегородки, разделявшие две наших туалетных <sup>1</sup>, были такие тонкие, что мы могли переговариваться, умываясь каждый у себя, могли вести беседу, прерываемую только плеском воды, в той атмосфере интимности, которая так часто создается ограниченностью помещения и близостью комнат, но в Париже встречается очень редко.

В другие дни я оставался в постели, предаваясь мечтам, сколько мне хотелось, ибо было отдано приказание никогда не входить в мою комнату, пока я не позвоню, что, благодаря

---

<sup>1</sup> Туалетная Альбертины, совершенно одинаковая с моей, была ванной, которой мама, имевшая другую ванну с противоположной части квартиры, никогда не пользовалась, чтобы не беспокоить меня шумом.

неудобно подвешенной над кроватью груше электрического звонка, требовало столько времени, что часто, устав разыскивать ее и довольный одиночеством, я на несколько мгновений снова почти засыпал. Нельзя сказать, чтобы я был совершенно равнодушен к пребыванию у нас Альбертины. Ее разлука с подругами избавляла мое сердце от новых терзаний. Она держала его в состоянии покоя, как бы в неподвижности, которые помогли бы ему излечиться. Но в конечном итоге это спокойствие, доставляемое мне моей подругой, было скорее прекращением страдания, чем радостью. Не то, чтобы оно препятствовало мне наслаждаться многочисленными радостями, которых лишила меня слишком жгучая боль, но радостями этими я не только не был обязан Альбертине, которую к тому же не находил больше хорошенькой и с которой мне было скучно, которую, как я отчетливо ощущал, я не любил, а, напротив, я ими наслаждался, когда Альбертины не было возле меня. Вот почему, начиная свой день, я не приглашал ее к себе сразу же, особенно когда бывала хорошая погода. В течение нескольких минут, зная, что это принесет мне больше удовольствия, чем общество Альбертины, я оставался с глазу на глаз с упомянутым выше обитавшим во мне крохотным созданием, песнями приветствовавшим солнце. Из всех «я»,

составляющих нашу индивидуальность, самыми существенными для нас являются далеко не самые явные. Когда болезнь положит их в конце концов, одно за другим, на обе лопатки, во мне останутся еще два или три таких персонажа, обладающих большей жизнеспособностью, чем прочие, прежде всего некий философ, который бывает счастлив, лишь когда открывает между двумя произведениями, между двумя ощущениями что-нибудь общее. Но последним из них, — я спрашивал себя по временам, — уж не явится ли человек, очень похожий на того капуцина, которого выставлял у себя на витрине комбрейский оптик для предсказания погоды и который, снимая капюшон, как только показывалось солнце, снова надевал его, когда собирался дождь. Эгоизм этого человечка мне хорошо известен; я могу задыхаться от приступов астмы, которую способно успокоить одно только наступление дождливой погоды, ему нет до этого никакого дела, при первых каплях дождя, с таким нетерпением ожидаемых мной, у него пропадает вся веселость, настроение портится, и он насовывает капюшон себе на нос. Зато я уверен, что во время моей агонии, когда все мои другие «я» будут уже мертвыми, если блеснет луч солнца, меж тем как я буду испускать последний вздох, этот барометрический человек почувствует себя как нельзя лучше, сдернет свой капюшон и

запоет: «Ах, наконец-то погода хорошая!»

Я звонил Франсуазе. Раскрывал «Фигаро». Я искал там, и постоянно убеждался в ее отсутствии, одну статью, как я называл ее, посланную мной в эту газету и являвшуюся не чем иным, как недавно найденной мной и немного подправленной страницей, которую я написал когда-то в экипаже доктора Перспье, наблюдая мартенвильские колокольни. Потом я читал мамино письмо. Мама находила странным, ее шокировало, что со мной живет барышня, притом совершенно одна. На первых порах, в день моего отъезда из Бальбека, матушка, видя меня таким несчастным и беспокоясь, как бы со мной чего не случилось, если я останусь один, может быть, даже обрадовалась, когда узнала, что Альбертина едет с нами, и увидела, как на поезд узкоколейки рядом с нашими чемоданами <sup>2</sup> погрузили чемоданы Альбертины, узкие и черные, по форме своей напомнившие мне гробы и относительно которых я был в неведении, жизнь или смерть принесут они в наш дом. Однако я даже не задавался этим вопросом, настолько в то солнечное утро, после ужаса остаться в Бальбеке, я рад был увезти с собой Альбертину. Но если

---

<sup>2</sup> Подле которых я проплакал в бальбекском отеле всю ночь.



сначала матушка не противилась этому проекту<sup>3</sup>, то она стала относиться к нему враждебно после того, как он был осуществлен слишком уже полно, и пребывание у нас молодой девушки затянулось, притом в отсутствие моих родителей. Впрочем, я не могу сказать, чтобы матушка когда-нибудь выразила мне свою враждебность открыто. Как в те времена, когда она перестала упрекать меня в моей нервности, в моей лени, не находя в себе для этого смелости, так и теперь она все не решалась, — чего я тогда, может быть, не разглядел хорошенько или не хотел разглядеть, — своими замечаниями относительно девушки, с которой, по моим заявлениям, я собирался обручиться, омрачить мою жизнь, уменьшить со временем мою преданность будущей жене, посеять может быть во мне, когда ее самой больше не будет в жизни, угрызения совести от мысли, что моя женитьба на Альбертине доставила ей огорчение. Мама предпочитала делать вид, будто она одобряет мой выбор, так как чувствовала, что не может меня разубедить. Но все, кто видел ее в то время, говорили мне, что к печали по умершей матери у нее прибавилось выражение

---

<sup>3</sup> Разговаривая с моей подругой очень любезно, как мать, которая признательна молоденькой любовнице, самоотверженно ухаживающей за ее сыном, только что получившим тяжелую рану.

постоянной озабоченности. От этого напряжения ума, от этой внутренней борьбы у мамы пылали виски, и она то и дело открывала окна, чтобы освежиться. Но она все не принимала никакого решения из боязни «повлиять» на меня в дурном смысле и испортить то, что она считала моим счастьем. Она не способна была даже найти в себе решимость помешать мне временно поместить Альбертину в нашем доме. Она не хотела прослыть более строгой, чем г-жа Бонтан, которой это касалось прежде всего и которая не находила в поведении своей племянницы ничего неприличного, немало удивляя тем мою матушку. Во всяком случае, она сожалела, что ей пришлось оставить меня вдвоем с Альбертиной, благодаря отъезду как раз в этот момент в Комбре, где она могла задержаться<sup>4</sup> на долгие месяцы, в течение которых моя двоюродная бабушка непрестанно, днем и ночью, нуждалась в ее услугах. Ее заботы были сильно облегчены добротой и преданностью Леграндена, который, не отступая ни перед какими затруднениями, откладывал с недели на неделю свое возвращение в Париж, не будучи даже хорошо знаком с моей двоюродной бабушкой, сначала просто потому, что она была подругой его матери, а потом — почувствовав, что обреченная больная

---

<sup>4</sup> И действительно задержалась.

любит его заботы и не может обойтись без него. Снобизм — тяжелая душевная болезнь, но местная, не повреждающая всей души целиком. Сам я однако, в противоположность маме, был очень доволен ее переездом в Комбре, так как<sup>5</sup> опасался, как бы, оставаясь с нами, мама не открыла дружеских отношений Альбертины и м-ль Вентейль. Эти отношения показались бы матушке безусловным препятствием не только для женитьбы, о которой она, впрочем, просила меня не говорить еще определенно моей подруге и мысль о которой делалась мне все более и более невыносимой, но даже и для самого кратковременного пребывания Альбертины в нашем доме. За исключением этого серьезного обстоятельства, о котором она ничего не знала, мама, — с одной стороны, вследствие благотворного и эмансипирующего подражания бабушке, восторженной поклоннице Жорж Санд, утверждавшей, что добродетель заключается в благородстве сердца, а, с другой, поддавшись моему тлетворному влиянию, — стала снисходительна к женщинам, поведение которых она бы строго осудила в прежнее время, да даже и теперь, если бы они принадлежали к числу ее парижских или комбрейских друзей буржуазного

---

<sup>5</sup> Не решаясь попросить Альбертину молчать об этом.

круга, — стала, повторяю, снисходительна к женщинам, великодушие которых я ей расхваливал и которым она многое прощала, потому что они любили меня много. Несмотря на все это и даже независимо от вопроса о приличиях, мне кажется, Альбертина не ужилась бы с мамой, усвоившей в Комбре от тети Леонии и от всех своих родных привычку к порядку, о котором подруга моя не имела самого элементарного понятия.

Она ни за что бы не закрыла двери и в то же время без всякого стеснения вошла бы, если бы дверь была открыта, как сделала бы это собака или кошка. Немного стесняющая прелесть ее проистекала таким образом отчасти оттого, что она находилась в доме не столько на положении молодой барышни, сколько на положении домашнего животного, которое входит в комнату и выходит из нее, которое оказывается везде, где его не ожидают, которое укладывалось, — и это приносило мне глубочайший покой, — на моей кровати рядом со мной, устраивало себе там местечко, где лежало, не шевелясь и вовсе не стесняя меня, как стесняла бы женщина. Однако, в конце концов, она приспособилась к часам моего сна и не только не делала попыток войти в мою комнату, но и не шумела, пока не раздавался мой звонок. Эти правила были ей внушены Франсуазой.

Франсуаза была из числа тех комбрейских

слуг, которые умеют ценить своего господина и внимательно следят за тем, чтобы ему полностью был оказан подобающий, на их взгляд, почет. Когда кто-нибудь из посторонних давал Франсуазе на чай пополам с судомойкой, то не успевал гость вручить свою монету, как Франсуаза с поразительной быстротой, сдержанностью и энергией преподавала урок судомойке, и та приходила благодарить не вполголоса, а открыто, во всеуслышание, как это подобало, согласно предписаниям Франсуазы. Комбрейский кюре не блистал талантами, но и он умел поступать, как полагается. Под его руководством дочка родственников-протестантов г-жи Сазра перешла в католичество, и семья девушки продолжала относиться к нему как нельзя лучше: вопрос шел о браке с одним дворянином из Мезеглиза. Родители молодого человека обратились для осведомления с довольно пренебрежительным письмом, в котором говорили свысока о протестантском происхождении невесты. Комбрейский кюре ответил таким тоном, что дворянин из Мезеглиза, поверженный в прах и уничтоженный, написал совсем иное письмо, в котором добивался как величайшей милости сочетания брачными узами с молодой девушкой.

Со стороны Франсуазы не было заслугой внушить Альбертине уважение к моему сну. Она была насквозь пропитана традициями. По

хранимому ею молчанию или по резкому ответу на предложение войти ко мне и попросить у меня чего-нибудь, с которым невиннейшим образом обращалась к ней Альбертина, та с крайним изумлением поняла, что находится в странном мире, с неведомыми ей обычаями, управляемом законами, о нарушении которых нечего и помышлять. Поверхностное знакомство с этим своеобразным миром она получила уже в Бальбеке, а в Париже не делала даже попыток к сопротивлению и каждое утро терпеливо ждала моего звонка; только тогда она решалась шуметь.

Уроки, преподанные ей Франсуазой, пошли на пользу и самой нашей старой служанке, которая мало-помалу успокоилась и перестала сокрушаться о промахе, совершенном ею при отъезде из Бальбека. Дело в том, что, садясь уже в трамвай, она спохватилась, что забыла попрощаться с экономкой гостиницы, усатой особой, наблюдавшей за уборкой помещений, которая была едва знакома с Франсуазой, но обращалась с ней сравнительно учтиво. Франсуаза хотела во что бы то ни стало ехать обратно, сойти с трамвая, вернуться в гостиницу, попрощаться с экономкой и отправиться в путь только на другой день. Благоразумие и особенно внезапно вспыхнувшее во мне отвращение к Бальбеку помешали мне оказать ей эту любезность, что дурно повлияло на

Франсуазу, повергло ее в болезненное лихорадочное состояние, которое, несмотря на перемену воздуха, продолжалось у нее и в Париже. Ведь, согласно кодексу Франсуазы, наглядно выраженному барельефами Сент-Андре-де-Шан, желать смерти врагу и даже умертвить его не возбраняется, но ужасно не сделать того, что полагается, проявить неучтивость, вести себя грубой мужичкой и не попрощаться перед отъездом с экономкой гостиницы. Всю дорогу воспоминание о невежливости по отношению к этой женщине поминутно всплывало у Франсуазы и окрашивало ее щеки румянцем, способным внушить тревогу. Может быть, даже ее отказ прикоснуться к питью и еде до самого Парижа объяснялся не столько желанием наказать нас, сколько тем, что это неприятное воспоминание<sup>б</sup> ложилось ей «камнем» «на желудок».

Одной из причин, побуждавших маму посылать мне ежедневно по письму, неизменно содержавшему какую-нибудь цитату из госпожи де Севинье, было воспоминание о бабушке. Мама писала мне: «Г-жа Сазра дала нам один из тех скромных завтраков, секретом которых владеет она одна и которые, как сказала бы твоя бедная бабушка, цитируя госпожу де Севинье, уведят нас

---

<sup>б</sup> У каждого общественного класса своя патология.

из одиночества, не перенося, однако, в общество». В первых своих ответах я имел глупость написать маме: «По этим цитатам твоя матушка сразу бы узнала тебя». На мое замечание я через три дня получил следующий ответ: «Бедный сынок, если ты хочешь говорить со мной о моей матушке, то очень некстати ссылаешься на госпожу де Севинье. Она бы ответила тебе, как ответила г-же де Гриньян: „Значит, она была для вас чужой? А я-то считала вас родственниками“».

Тем временем я слышал шаги моей гостьи, вышедшей из своей комнаты или туда возвращавшейся. Я звонил, потому что был уже час, когда за Альбертиной собиралась зайти Андре вместе с шофером, другом Мореля, который перешел ко мне на службу от Вердюренов. Мне случалось говорить Альбертине об отдаленной возможности нашего брака; но никогда я не делал ей официального предложения; сама же она, когда я говорил ей: «Не знаю, но это будет, пожалуй, возможно», из скромности покачивала головой с грустной улыбкой, говоря: «нет, не будет», что означало: «я слишком бедная». И вот, все время повторяя: «это весьма и весьма вероятно», когда речь заходила о проектах устройства будущего, я в настоящее время делал все, чтобы развлечь ее, сделать ей жизнь приятной, бессознательно стремясь, быть может, внушить ей таким образом



желание выйти за меня замуж. Сама она смеялась над всей этой роскошью. «Вот вытаращит глаза мать Андре, увидя, что я стала такой же богатой дамой, как и она, то есть дамой, у которой есть лошади, экипажи, картины. Как? Разве я вам не рассказывала, что она любит так говорить? О, это тип! Больше всего дивлюсь я тому, что она возвышает картины до уровня лошадей и экипажей». Читатель увидит впоследствии, что, несмотря на оставшуюся привычку говорить пошлости, Альбертина необыкновенно развилась в умственном отношении, но это мне было совершенно безразлично: высокие качества ума моих приятельниц никогда меня не интересовали, и если мне случалось их отметить той или другой из них, я делал это только из вежливости. Один лишь курьезный ум Селесты, пожалуй, мне нравился. Я невольно улыбался в течение нескольких минут, когда, например, пользуясь тем, что Альбертины у меня нет, она обращалась ко мне с такими словами: «Небесное божество, возлежащее на кровати!» Я говорил: «Послушайте, Селеста, почему же небесное божество?» — «О, если вы думаете, что у вас есть что-нибудь общее с людьми, странствующими по нашей презренной земле, то вы очень ошибаетесь!» — «Но почему же возлежащее на кровати, вы ведь видите, что я просто лежу». — «Вы никогда не лежите. Ну разве видано было,

чтобы кто-нибудь так лежал? Вы явились сюда возлечь. Ваша белоснежная пижама и движение вашей шеи придают вам в эту минуту сходство с голубем».

Альбертина, даже говоря глупости, выражалась теперь совсем иначе, чем та молоденькая барышня, которой она была всего только несколько лет назад в Бальбеке. Она способна была даже заявить по поводу какого-нибудь политического события, которого она не одобряла: «Я нахожу это чудовищным». И, помнится, именно в это время она научилась говорить, показывая, что находит какую-нибудь книгу дурно написанной: «Интересно, но, право же, точно помелом написано».

Запрещение входить ко мне прежде, чем я позвоню, очень забавляло ее. Так как она усвоила семейную нашу привычку цитировать и пользовалась для этой цели пьесами, которые играла в монастыре и которые, как она узнала, я любил, то всегда сравнивала меня с Артаксерксом:

Et la mort est le prix de tout audacieux  
Qui sans être appelé se présente à leurs yeux  
Rien ne met à l'abri de cet ordre fatal  
Ni le rang, ni le sexe, et le crime est égal.  
Moi même.....  
Je suis a cette loi comme une antre soumise;

Et sans le prévenir il faut pour lui parler  
Qu'il me cherche ou de moins qu'il me fasse  
appeler.

Физически она тоже изменилась. Ее продолговатые голубые глаза не сохранили прежней формы — они еще более вытянулись; цвет их остался, правда, прежним, но вещество как будто растаяло и стало жидким. Настолько, что когда она опускала веки, то казалось, будто завешивают окна с видом на море. Должно быть, эту ее черту я больше всего запоминал каждую ночь, расставаясь с нею. Потому что каждое утро меня долгое время неизменно повергали в изумление ее выющиеся волосы, как нечто новое, никогда мной невиданное. А между тем над улыбающимся взором молодой девушки есть ли что-либо прекраснее этого волнистого венка из черных фиалок? Улыбка сулит нам дружбу; но лоснящиеся завитки пышных волос более родственны плоти; представляясь транспонировкой ее в струйки, они сильнее возбуждают желание.

Едва войдя в мою комнату, Альбертина прыгала на постель и давала иногда определение особенностям моего ума; в искреннем порыве она клялась, что скорее умрет, чем покинет меня: это бывало в дни, когда я успевал побриться до ее прихода. Она была из числа тех женщин, которые

не умеют разбираться в причинах своих ощущений. Удовольствие, доставляемое им свежим цветом лица, они объясняют душевными качествами человека, открывающего им перспективы счастья, которое способно, впрочем, сильно пойти на убыль и стать менее насущным по мере того, как у этого человека отрастает борода.

Я спрашивал ее, куда она сегодня собирается.

— Кажется, Андре хочет свезти меня в Бютт-Шомон, которого я не знаю.

Конечно, мне было не под силу угадать, кроется ли под этими ее словами какая-нибудь ложь. Впрочем, я питал доверие к Андре и не сомневался, что она назовет мне все места, которые собиралась посетить с Альбертиной.

В Бальбеке, почувствовав себя очень утомленным Альбертиной, я намеревался обратиться к Андре с лживыми уверениями: «Милая Андре, о если бы мне довелось встретиться с вами! Вы — та женщина, которую я бы полюбил. Но теперь сердце мое пленено другою. Все же нам хорошо бы видеться почаще, потому что моя любовь к другой доставляет мне много огорчений, и вы поможете мне утешиться». И вот эти самые лживые слова стали правдой через какие-нибудь три недели. Может быть, Андре думала в Париже, что в действительности это ложь и что я люблю ее, как она вероятно подумала бы в Бальбеке. Ведь

истина до такой степени меняется для нас, что другие с трудом могут узнать ее в наших словах. И так как я знал, что она расскажет мне все, что они с Альбертиной будут делать, то попросил ее, и она дала согласие, заезжать за Альбертиной почти каждый день. При этом условии я мог спокойно оставаться дома.

Обаяние, которым пользовалась Андре как девушка из числа бальбекской «ватаги», давало мне уверенность, что она добьется от Альбертины всего, чего я пожелаю. Я бы в самом деле мог теперь совершенно искренно сказать ей, что она способна принести мне спокойствие.

С другой стороны, мой выбор Андре Которая находилась в Париже, отказавшись от своего намерения возвратиться в Бальбек в руководительницы Альбертины объяснялся тем, что Альбертина рассказала мне о расположении ко мне ее подруги в Бальбеке в то время, когда я, напротив, боялся наскучить ей, и если бы я знал об этом тогда, я полюбил бы, пожалуй, но не Альбертину, а Андре.

«Как, вы этого не знали? — сказала мне Альбертина. — А мы столько подтрунивали над ней по этому поводу. Впрочем, вы не заметили даже, как она стала перенимать вашу манеру говорить, рассуждать. Особенно после встреч с вами она прямо поражала нас. Ей совсем не нужно было

говорить, что она с вами виделась. Когда она приходила, с первой же секунды ясно было, является ли она со свидания с вами. Мы переглядывались между собой и смеялись. Она бывала похожа на трубочиста, который пожелал бы сделать вид, что он не трубочист. А сам весь черный. Мельнику нет надобности говорить, что он мельник, всякий видит муку, которой он покрыт; на нем остались следы мешков, которые он таскал. То же самое Андре: она изгибала брови совсем как вы, и потом ее длинная шея; словом, не могу даже вам описать. Когда я беру книгу, которая находилась в вашей комнате, я это читаю, не раскрывая ее, сразу можно узнать, что она от вас, потому что она хранит запах ваших гадких курений. Это пустяки, но пустяки в сущности очень милые. Каждый раз, когда кто-нибудь говорил о вас любезно, превозносил ваши таланты, Андре бывала в восторге».

И все же, желая освободиться от мысли, что тут что-нибудь подстроено без моего ведома, я советовал пожертвовать на сегодня Бютт-Шомоном и ехать лучше в Сен-Клу или в другое место.

Я это делал совсем не потому, что сколько-нибудь любил Альбертину. Любовь является, может быть, лишь продолжением волнения, которое, в результате какого-нибудь сильного впечатления, всколыхнуло душу. Вся

душа моя была потрясена, когда Альбертина сказала мне в Бальбеке о м-ль Вентейль, но теперь волнение утихло. Я не любил больше Альбертины, потому что во мне не осталось и следа от вылеченного теперь страдания, которое я испытал в трамвае возле Бальбека, узнав, какова была молодость Альбертины с ее возможными посещениями Монжувена. Я слишком долго думал обо всем этом, все это прошло. Но по временам некоторые обороты речи Альбертины, — сам не знаю почему, — внушали мне предположение, что в течение такой короткой еще своей жизни она должно быть выслушала много комплиментов, признаний и принимала их с удовольствием, почти со сладострастием. Так, она говорила по самым разнообразным поводам: «Правда? В самом деле, правда?» Конечно, если бы она сказала подобно, например, Одетте: «Сущая правда эта грубая ложь!» — я бы несколько не был обеспокоен, потому что комизм выражения объяснялся бы тупостью и банальностью женского ума. Но своим вопросительным видом: «Правда?» — она производила с одной стороны странное впечатление женщины, которая не может разобраться самостоятельно и обращается к вашему свидетельству, как если бы она не обладала теми

способностями, что есть у вас<sup>7</sup>. К несчастью, с другой стороны этот недостаток способности разбираться самостоятельно во внешних явлениях едва ли мог быть подлинной причиной ее «Правда? В самом деле, правда?» Казалось, скорее, что слова эти со времени ее ранней зрелости являлись ответами на: «Вы знаете, я никогда не встречал такой хорошенькой женщины, как вы», или: «Вы знаете, я сгораю от любви к вам, я совсем потерял голову». На подобные утверждения и отвечали с кокетливо соглашающейся скромностью эти «Правда? В самом деле, правда?» — которые служили Альбертине при разговорах со мной лишь вопросительными ответами на утверждения в таком роде: «Вы спали больше часа». — «Правда?»

Не чувствуя себя ни капельки влюбленным в Альбертину, не находя никакого удовольствия в проводимых с нею минутах, я все же был озабочен ее времяпрепровождением; конечно, я убежал из Бальбека для приобретения уверенности, что впредь она не будет видеться с теми особами, мысль о которых до такой степени наполняла меня страхом, как бы Альбертина, беззаботно смеясь, — смеясь может быть, надо мной, — не натворила с ними беды, что я пустился на хитрость — внезапно

---

<sup>7</sup> Ей говорили: «Вот уже час, как мы вышли из дому», или: «Идет дождь», а она спрашивала: «Правда?».



уехал, — одним ударом попытавшись порвать все ее дурные знакомства. Пассивность Альбертины, ее способность забывать и покоряться были так велики, что она действительно порвала все такие отношения, и я излечился от мучившей меня фобии. Но фобия эта может принимать столько же форм, как и неопределенное зло, являющееся ее предметом. Пока моя ревность не перевоплотилась в новые существа, я переживал после прекращения моих страданий период покоя. Но малейший повод обостряет хроническую болезнь, подобно тому как малейший предлог способен вновь оживить<sup>8</sup> порок женщины, причиняющей нам ревность, и побудить ее предаваться ему с другими лицами. Я мог разлучить Альбертину с ее сообщницами и таким образом избавиться от наваждения; но если можно было заставить ее позабыть определенных лиц, истребить ее привязанности, так ведь ее вкус к наслаждению был хроническим и, может быть, только ждал случая, чтобы проснуться вновь. А Париж доставляет таких случаев столько же, как и Бальбек.

В каком бы городе она ни находилась, ей не нужно было искать, потому что зло гнездилось не в одной только Альбертине, но и в других, для которых хорош всякий случай испытать

---

<sup>8</sup> После периода целомудрия.

наслаждение. Взгляд одной тотчас подхватывается другой и сближает двух изголодавшихся. Ловкой женщине не стоит большого труда сделать вид, будто она ничего не заметила, а через пять минут подойти к особе, которая подхватила ее взгляд и поджидает ее на перекрестке, и в двух словах назначить ей свидание. Кто узнает об этом когда-нибудь? При желании продолжать это Альбертине было так просто сказать мне, что она хочет вновь посмотреть какую-нибудь понравившуюся ей окрестность Парижа. Вот почему достаточно ей было вернуться слишком поздно, достаточно было ее прогулке затянуться необъяснимо долго, хотя, может быть, объяснение этой продолжительности было бы весьма легко найти, не обращаясь ни к каким чувственным мотивам, — и боль моя возобновлялась, связываясь на этот раз с представлениями, не относящимися к Бальбеку, которые я пытался, подобно предшествующим, истребить, точно истребление преходящей причины способно вылечить врожденную болезнь. Я упускал из виду, что при этих истреблениях, в которых соучастницей моей была способность Альбертины меняться, забывать и почти ненавидеть недавний предмет своей любви, я причинял иногда глубокое страдание неизвестным, с которыми она последовательно вкушала наслаждение, и что это страдание я

причинял напрасно, ибо неизвестные будут покинуты и замещены другими, и параллельно пути, отмеченному столькими изменами, которые она совершит с легким сердцем, для меня протянется другой беспощадный путь, едва прерываемый коротенькими роздыхами; так что болезнь моя, по здоровом размышлении, могла окончиться только с Альбертиной или моей смертью. В первое время по нашем приезде в Париж, неудовлетворенный сведениями, которые доставляла мне Андре и шофер о прогулках с моей подругой, я даже воспринимал окрестности Парижа почти так же болезненно, как и окрестности Бальбека, почему и уехал с Альбертиной на несколько дней из Парижа. Но неуверенность в ее поведении везде оставалась одинаковой; возможностей предаваться пороку было у нее столько же, а присмотр становился более затруднительным, так что вскоре я возвратился. Покидая Бальбек, я думал, что покидаю Гоморру, вырываю из нее Альбертину; увы, Гоморра была рассеяна по всему лицу земли! И частью благодаря моей ревности, частью вследствие незнания этих наслаждений<sup>9</sup> я, сам того не подозревая, устроил игру в прятки, в которой Альбертина постоянно от меня ускользала.

---

<sup>9</sup> Случай, наблюдающийся очень редко.

Я спрашивал ее врасплох: «Ах, кстати, Альбертина, приснилось ли мне это, или вы действительно сказали, что знакомы с Жильбертой Сван?» — «Да, то есть она помогала мне на уроках, потому что у нее были записки по французской истории, она была даже так мила, что одолжила мне свои тетради, и при первой же встрече с ней я их вернула». — «Что же, она из тех женщин, которых я не люблю?» — «О, ничуть, совсем напротив». Но я не любил заниматься такого рода допросами и часто посвящал на мысленное представление прогулки Альбертины больше сил, чем затратил бы их на действительное участие в этой прогулке; я заводил с ней речь с тем жаром, который сохраняют в нас нетронутым неосуществленные планы. Я выражал такое горячее желание вновь взглянуть на тот или другой витраж Сент-Шапель, такое сожаление по поводу невозможности пойти в эту часовню вдвоем с Альбертиной, что она ласково говорила мне: «Милый мой мальчик, если вы думаете, что это доставит вам такое удовольствие, сделайте маленькое усилие, поезжайте с нами. Мы будем ждать вас, сколько вам угодно, вы успеете собраться не торопясь. Впрочем, если вам больше нравится быть одному со мной, я сейчас же спроважу Андре, она придет в другой раз». Но эти просьбы выйти прогуляться действовали на меня так успокоительно, что я мог уступить желанию

остаться дома.

Мне в голову не приходило, что апатия, которой я наполнялся, поручая присмотр за Альбертиной Андре или шоферу и перенося на них таким образом заботу успокаивать мое возбуждение, сковывала у меня все те движения рассудка, парализовала всю ту работу воображения, все те озарения воли, которые помогают нам угадать замыслы интересующего нас лица и помешать ему привести их в исполнение; а надо сказать, что от природы мир возможного всегда был больше открыт мне, чем мир реальный с его непредвиденными случайностями. Такая особенность облегчает нам познание человеческой души вообще, но часто вводит в заблуждение относительно тех или иных конкретных лиц. Моя ревность порождалась образами, созданными моим страданием, а вовсе не была результатом исчисления вероятностей. Между тем в жизни людей, как и в жизни народов, может наступить мгновение <sup>10</sup>, когда чувствуется иметь в себе префекта полиции, дипломата с ясным и трезвым умом, начальника сыскного отделения, который вместо мечтаний о возможностях, таящихся в каждой точке земной поверхности, рассуждает точно и говорит: «Если Германия заявляет то-то и

---

<sup>10</sup> И ему предстояло наступить также и в моей жизни.

то-то, то значит она хочет предпринять нечто совсем другое, не неопределенный какой-то шаг, а в точности то-то и то-то, и, может быть, уже приступила к осуществлению своего замысла». — «Если такое-то лицо убежало, то оно скрылось не в а, b, d — а в с, и место, где следует производить наши поиски, есть с». Увы, способность эту, которая никогда не была сильно развита у меня, я оставлял в пренебрежении; она слабела и глохла вследствие моей привычки успокаиваться, как только другие брали на себя заботу присматривать вместо меня.

Что же касается причины моего нежелания выходить из дому, то мне было бы неприятно сообщить ее Альбертине. Я говорил ей, что доктор велел мне лежать в постели. Это была неправда. Но если бы даже доктор действительно велел мне лежать, его предписания были бы неспособны помешать мне сопровождать мою подругу. Я просил у нее позволения не выходить с нею и с Андре. Я скажу только одну причину, которая сводится к соображениям благоразумия. Когда я выходил с Альбертиной, то, стоило ей хотя бы на минуту отлучиться от меня, как я уже начинал беспокоиться, воображал, что она, может быть, разговаривает с кем-нибудь или просто смотрит на кого-нибудь. Если она не бывала в отличном расположении духа, то я думал, что из-за меня ей

приходится отказаться от своих планов или отложить их осуществление. Действительность всегда только притрава для неизвестности, по путям которой мы не можем зайти особенно далеко. Лучше ничего не знать, думать как можно меньше, не давать ревности ни малейшей конкретной подробности. К несчастью, при отсутствии внешней жизни, материал для ревности доставляется жизнью внутренней; при отсутствии прогулок с Альбертиной, случайности, на которые я набредал во время своих размышлений в одиночестве, снабжали меня иногда теми клочками действительности, что наподобие магнита притягивают к себе более или менее обширные области неведомого, и оно становится тогда мучительным. Хотя бы мы жили под колоколом воздушного насоса, все равно ассоциации представлений, воспоминания продолжают свою игру. Но эти ушибы изнутри я получал не сразу; едва Альбертина отправлялась на свою прогулку, как я испытывал, хотя бы только на несколько мгновений, живительное действие возбуждающих свойств одиночества.

Я принимал участие в радостях начинающегося дня; продиктованного прихотью, чисто субъективного желания насладиться этими радостями было бы недостаточно для их получения, если бы стоявшая на дворе погода, помимо

оживления образов прошлого, не утверждала также реальности настоящего мгновения, непосредственно доступной всем, кого какое-нибудь случайное и следовательно не заслуживающее внимания обстоятельство не принуждало оставаться дома. В иные холодные погожие дни устанавливался такой непосредственный контакт с улицей, что казалось, будто убраны стены, и звук каждого проходящего трамвая раздавался как удар серебряного ножа по стеклянному дому. Но с особенным опьянением прислушивался я к некоему новому звуку, издаваемому во мне самом внутренней скрипкой. Струны ее натягиваются или ослабляются простыми изменениями наружной температуры и наружного освещения. В нашем существе, инструменте, который однообразие привычки привело к молчанию, пение вызывается этими колебаниями, этими переменами, источником всякой музыки: погода, стоящая в иные дни, заставляет нас переходить от одной ноты к другой. Мы вновь находим забытую мелодию, математическую необходимость которой мы могли бы предугадать и которую в первые мгновения мы поем, не узнавая. Одни только эти внутренние, хотя и приходившие извне, модификации обновляли для меня внешний мир. Давно уже заколоченные двери к нему вновь открывались в моем мозгу. Жизнь



некоторых городов, веселье некоторых прогулок снова занимали во мне подходящее место. Трепеща всем существом вокруг вибрирующей струны, я пожертвовал бы своей тусклой прошедшей жизнью и жизнью предстоящей, обесцвеченной резинкой привычки, ради этого столь своеобразного состояния.

Хотя я и не выходил из дому сопровождать Альбертину в длинных ее прогулках, ум мой блуждал от этого ничуть не меньше, и отказавшись вкушать сладость этого утра своими чувствами, я зато наслаждался в воображении всеми подобными утрами, действительно мной виденными или возможными, говоря точнее — определенным типом утр, перемежающимся явлением которого были все такие утра; я тотчас узнавал его, ибо свежий воздух сам переворачивал страницы, какие нужно было, и я видел перед собой раскрытое Евангелие дня, которое мог читать, не вставая с постели. Это идеальное утро нагружало мой ум устойчивой реальностью, тождественной у всех подобных утр, и наполняло меня ликованием, которое ничуть не ослаблялось моим болезненным состоянием: хорошее самочувствие обуславливается в гораздо меньшей степени нашим здоровьем, чем неиспользованным излишком наших сил, и мы одинаково хорошо можем достичь его как умножением этих сил, так и ограничением

нашей деятельности. Переполюнявшее меня радостное возбуждение, во власть которого я отдавался, лежа в постели, бросало меня в трепет, заставляло меня внутренне прыгать, подобно машине, которая, когда ей мешают перемещаться, вращается вокруг собственной оси.

Приходила Франсуаза затопить камин и, чтобы дрова лучше разгорались, бросала в огонь охапку сучьев, запах которых, забытый в течение лета, описывал подле камина магический круг, в пределах которого, застигая себя за чтением то в Комбре, то в Донсьере, я чувствовал себя так же радостно в своей парижской комнате, как если бы мне сейчас предстояло отправиться на прогулку в сторону Мезеглиза или увидеться с Сен-Лу и его друзьями, отбывающими службу в лагерях. Часто случается, что удовольствие, испытываемое всеми людьми при переглядывании воспоминаний, собранных их памятью, бывает более живым у тех, например, кого тирания телесного недуга и ежедневная надежда на выздоровление лишают, с одной стороны, возможности отправиться искать на лоне природы картин, схожих с этими воспоминаниями, а с другой — оставляют у них достаточно уверенности, что им вскоре удастся это сделать, отчего больные продолжают их желать, к ним стремиться, а не рассматривают только как воспоминания, как картины. Но хотя бы им никогда

не суждено было быть ничем другим для меня и хотя бы, припоминая их я мог их созерцать только мысленно, все же, благодаря тождественности ощущения, они вдруг перерождали меня целиком в ребенка, в юношу, который их когда-то видел. Происходила не только перемена погоды на дворе, не только менялся запах в комнате, но делался иным также мой собственный возраст, моя теперешняя личность подменялась другой. Запах сухих сучьев в морозном воздухе был как бы куском прошлого, невидимой ледяной глыбой, которая оторвалась от давно прошедшей зимы и проникала в мою комнату, часто при этом изборожденная таким-то запахом, такой-то окраской, словно различными годами, в которые я ощущал себя погруженным вновь, охваченный, еще прежде даже, чем я узнавал их, ликованием давным-давно оставленных надежд. Солнце доходило до самой моей кровати, проникало сквозь прозрачную оболочку моего истончившегося тела, согревало меня, делало горячим как кристалл. Тогда, подобно изголодавшемуся выздоравливающему, мысленно лакомящемуся всеми блюдами, в которых ему еще отказывают, я спрашивал себя, не испортит ли женитьба на Альбертине всей моей жизни, возложив на меня, с одной стороны, непосильную задачу посвящения всего себя другому существу, а с другой — заставив

меня отвлеклась от внутреннего мира по причине ее постоянного присутствия и навсегда лишив меня радостей одиночества.

И не только их. Даже если не спрашивать у наступающего дня ничего, кроме желаний, все же нужно признать, что среди них есть такие — вызываемые не вещами, а людьми — которым присущ индивидуальный характер. Если, встав с постели, я шел к окну и раздвигал на мгновение занавески, то делал это не только как музыкант, открывающий на мгновение свой рояль, чтобы проверить, в точности ли соответствует солнечный свет на балконе и на улице диапазону, в каком он сохранился в моем воспоминании, но также и для того, чтобы увидеть, например, прачку, несущую корзину с бельем, булочницу в голубом переднике, молочницу с нагрудником и манжетами из белого полотна, держащую в руках крючок, на котором подвешены графины с молоком, надменную блондинку, идущую со своей гувернанткой, наконец, просто какой-нибудь образ, который одно различие линий, количественно, может быть, ничтожное, оказалось способным сделать столь же отличным от любого другого образа, как одна музыкальная фраза отлична от другой благодаря различию двух нот, и не увидя которого я чувствовал бы недостаток: день оказался бы лишенным целей, которые он мог предложить для

моих желаний счастья. Но если избыток радости, доставленный видом женщин, которых невозможно представить а priori, делал для меня более желанными, более достойными исследования улицу, город, мир, он тем самым наполнял меня также жаждой выздороветь, выходить, расстаться с Альбертиной и быть свободным. Сколько раз, когда незнакомая женщина, о которой я собирался мечтать, проходила пешком мимо нашего дома или вихрем проносилась в автомобиле, я страдал оттого, что мое тело не могло последовать за настигавшим ее моим взором и, упав на нее, словно пуля, пущенная аркебузой из амбразуры моего окна, остановить беглянку, посулившую счастье, которым здесь взаперти мне никогда не суждено будет насладиться.

Зато от Альбертины мне больше нечего было ожидать. С каждым днем она казалась мне менее красивой. Одно лишь желание, возбуждаемое ею в других, высоко поднимало ее в моих глазах, когда, узнав об этом, я снова начинал страдать и хотел ее отвоевать. Она была способна причинить мне страдание, но не доставляла ни малейшей радости. Одно только страдание поддерживало мою скучную привязанность. Как только страдание исчезало, а с ним и потребность его успокаивать, поглощавшая все мое внимание, словно утонченная жестокая забава, я чувствовал ничтожность того, чем она

была для меня и чем я должен был быть для нее. Я был несчастен оттого, что такое положение затянулось, и по временам мне хотелось услышать о совершении ею чего-нибудь ужасного, способного посорить нас до моего выздоровления, так как это позволило бы нам примириться, позволило бы обновить и сделать более гибкой сковывавшую нас цепь.

А тем временем я пользовался тысячей обстоятельств, тысячей удовольствий, чтобы создать ей возле себя иллюзию того счастья, которое я чувствовал себя не в силах ей дать. Мне хотелось по выздоровлении поехать в Венецию, но как это сделать, если я женюсь на Альбертине, — ведь я был так ревнив, что даже в Париже решался сдвинуться с места только для того, чтобы сопровождать ее на прогулках. Даже когда я сидел весь день дома, мысль моя следовала за ней, достигала далекого голубоватого горизонта, порождала вокруг центра, которым был я, подвижную зону неуверенности и неопределенности. «От скольких горестей разлуки, — говорил я себе, — избавит меня Альбертина, если во время одной из этих прогулок, видя, что я не заговариваю с ней больше о женитьбе, решит не возвращаться и отправиться к тетке, даже не попрощавшись со мной!» Сердце мое, когда рана его зарубцовывалась, переставало

прилепляться к сердцу моей подруги; я мог мысленно перемещать ее, удалять от себя, и это не причиняло мне страдания. Конечно, если не я, то кто-нибудь другой будет ее мужем, и на свободе она пустится может быть в те приключения, что внушали мне ужас. Но погода была такая хорошая, и я был так уверен в возвращении Альбертины вечером, что даже если мысль о ее возможных грехах приходила мне на ум, я мог свободным решением воли заключить ее в тот участок моего мозга, где она имела не больше значения, чем его имели бы для моей реальной жизни пороки какой-нибудь воображаемой женщины; я пускал в ход эластичные пружины своей мысли и, ощущая у себя в голове силу одновременно физическую и духовную в виде мышечного напряжения и волевой инициативы, энергично освобождался от привычного состояния озабоченности, в котором был заточен до сих пор; я начинал двигаться на вольном воздухе, где готовность идти на всевозможные жертвы, чтобы воспрепятствовать браку Альбертины с другим и помешать ее влечению к женщинам, казалось мне столь же безрассудной, как она показалась бы человеку, не знавшему ее вовсе.

Впрочем, ревность принадлежит к числу тех перемежающихся болезней, причина которых, капризная, повелительная, всегда одинаковая у

одного больного, бывает иногда диаметрально противоположной у другого. Есть астматики, способные успокаивать свои припадки только открывая окна, подставляя грудь ветру, вдыхая чистый воздух горных вершин, и есть другие, которые чувствуют себя лучше, забившись в прокуренной комнате в центре города. Мало найдется таких ревнивцев, ревность которых не шла бы на некоторые компромиссы. Один соглашается бывать обманутым, лишь бы ему сообщили об этом, другой, напротив, — при условии, чтобы от него скрывали измены; оба они одинаково безрассудны, ибо, если второй бывает обманутым в более строгом смысле этого слова, поскольку от него скрывают истину, то первый хочет получить от этой истины пищу для своих страданий, их продление и обновление.

Больше того, обе эти противоположные мании ревности часто не довольствуются словами, не ограничиваются тем, что вымаливают или отвергают признания. Встречаются ревнивцы, ревнующие только к женщинам, с которыми их любовница имеет сношения вдали от них, но позволяющие ей отдаваться другому мужчине, если это происходит с их ведома, подле них, и хотя не на глазах у них, то по крайней мере под их крышей. Этот вид ревности довольно часто можно наблюдать у пожилых мужчин, влюбленных в



молодую женщину. Они сознают трудность нравиться ей, чувствуют иногда бессилие удовлетворить ее и, не желая бывать обманутыми, предпочитают пускать к себе, в соседнюю комнату, молодого человека, которого считают неспособным дать их любовнице дурные советы, но очень способным доставить ей наслаждение. Другие поступают как раз наоборот: ни на минуту не оставляя своей любовницы одной в знакомом им городе, они держат ее в настоящем рабстве, но в то же время соглашаются отпустить ее на месяц в страну, которой они не знают, где ее поведение будет недоступно их воображению. По отношению к Альбертине у меня были оба эти вида успокоительных маний. Я бы не чувствовал ревности, если бы она предавалась наслаждениям подле меня, поощряемая мной, если бы знал об этих наслаждениях все подробности и был избавлен таким образом от страха услышать ложь; я бы, может быть, также не чувствовал ревности, если бы она уехала в страну мало мне известную и достаточно отдаленную для того, чтобы я мог представить себе ее образ жизни, чтобы у меня могло появиться искушение разузнавать о нем. В обоих случаях сомнение было бы рассеяно либо исчерпывающим знанием, либо полным неведением.

Угасание дня погружало меня, благодаря

воспоминаниям, в живительную атмосферу прежних дней, и я дышал ею с тем же наслаждением, с каким Орфей вдыхал тонкий, неведомый на нашей земле воздух Елисейских Полей.

Но день уже кончался, и меня начинали заливать волны вечерней печали. Взглянув машинально на часы и сообразив, сколько еще времени пройдет до возвращения Альбертины, я видел, что у меня есть еще время одеться и спуститься к владелице нашего дома, герцогине Германтской, чтобы расспросить ее о разных красивых принадлежностях туалета, которые я собирался подарить моей подруге. Иногда я встречал герцогиню во дворе, выходящей из дому для прогулки пешком, даже если бывала ненастная погода, в плоской шляпе и с мехом на плечах. Я отлично знал, что для большинства интеллигентных людей она была только элегантной дамой, так как в настоящее время, когда нет больше герцогств и княжеств, имя герцогини Германтской лишено всякого значения, но я усвоил другую точку зрения и по-своему наслаждался людьми и странами. Мне казалось, что эта дама в мехах, не обращавшая внимания на дурную погоду, носила с собой все замки земель, коих она была герцогиней, принцессой, виконтессой, вроде тех изваянных на архитравах порталов фигур, которые держат на

руке построенный ими собор или защищенный от неприятеля город. Но эти замки и эти леса были видимы лишь глазами моей души в левой руке дамы в мехах, кухни короля. Телесные же мои глаза различали у нее в руке во время непостоянной погоды только дождевой зонтик, которым герцогиня не боялась вооружаться. «Мы не можем знать заранее, нужно быть предусмотрительной, вдруг я окажусь где-нибудь далеко, а извозчик запросит с меня слишком дорого». Слова «слишком дорого», «мне не по средствам», то и дело повторялись в разговоре герцогини наряду со словами «я очень бедная», причем собеседник не мог хорошенько разобрать, говорит ли она так потому, что находит забавным говорить, что она бедная, будучи на самом деле баснословно богатой, или же потому, что находит элегантным, будучи большой аристократкой, напускать на себя вид простой крестьянки и не придавать богатству того значения, какое придают ему люди, не имеющие ничего, кроме богатства, и презирающие бедняков. А, может быть, у нее просто действовала привычка, выработавшаяся еще в тот период ее жизни, когда, уже будучи богатой, однако недостаточно по сравнению с расходами, связанными с содержанием таких обширных владений, она испытывала некоторые денежные затруднения, но не желала делать вид, будто их скрывает. Вещи, о которых мы

чаще всего говорим в шутку, обыкновенно являются, напротив, вещами, озабочивающими нас, но так, что мы не хотим показать нашей озабоченности, может быть, в смутной надежде на ту лишнюю выгоду, что наш собеседник, слыша наши шутки, не поверит тому, над чем мы подшучиваем.

Но чаще всего я знал, что застаю герцогиню дома, и был рад этому, так как в этот час было удобнее подробно выпрашивать у нее желательные для Альбертины сведения. И я спускался к ней, почти не думая о всей необычности того, что к этой таинственной герцогине Германтской моего детства я иду исключительно с целью воспользоваться ею для самых прозаических надобностей, вроде того как мы пользуемся телефоном, сверхъестественным инструментом, чудесам которого некогда так дивились и которым теперь пользуются почти бессознательно для вызова портного или заказа мороженого.

Безделушки из области нарядов доставляли Альбертине огромное удовольствие. Я не мог удержаться от поднесения ей каждый день нового подарка. Глаза ее мгновенно подмечали все, что касалось элегантности, и она с восхищением говорила мне о шарфе, о мехе, о зонтике, которые через окно или проходя по двору она видела на шее,

на плечах или в руке герцогини Германтской; во всех таких случаях, зная, что от природы разборчивый вкус девушки<sup>11</sup> ни в каком случае не будет удовлетворен вещью приблизительно похожей и даже изящной, заменяющей вещь подлинную в глазах невежды, но в корне от нее отличной, я потихоньку отправлялся к герцогине разузнать у нее, где, как по какой модели было изготовлено то, что понравилось Альбертине, какие шаги мне нужно предпринять, чтобы получить в точности такую же вещь, в чем заключается секрет мастера, прелесть<sup>12</sup> его манеры, точное название — красота материала имела также большое значение — и качество материй, которые мне приходилось покупать для заказываемой вещи.

Когда я сказал Альбертине по возвращении из Бальбека, что напротив нас, в том же доме, живет герцогиня Германтская, то, услышав громкий титул и громкое имя, она приняла тот более чем равнодушный — враждебный, презрительный — вид, который является обыкновенно выражением бессильного желания у натур гордых и страстных. Хотя характер у Альбертины был превосходный,

---

<sup>11</sup> Еще более утонченный уроками элегантности, которыми были для нее разговоры с Эльстиром.

<sup>12</sup> Которую Альбертина называла «шиком», «последней модой».

однако таившиеся в нем достоинства могли развиваться только в обстановке тех помех, каковыми являются наши склонности или сожаления о склонностях, которыми нам пришлось поступиться — вроде того как Альбертина поступилась снобизмом — и которые называются антипатиями. Антипатия Альбертины к светскому обществу занимала, впрочем, очень мало места в ее душе и нравилась мне революционным духом, — иными словами несчастной любовью к знати, — начертанным на оборотной стороне французского характера, в котором есть аристократический тон герцогини Германтской. Альбертина, может быть, и не стала бы горевать о недостижимости для нее этого тона, но при воспоминании о беседах с Эльстиром, говорившим ей о герцогине, как о наилучше одевавшейся в Париже женщине, республиканское презрение к герцогине сменялось у моей подруги живым интересом к элегантной даме. Она часто расспрашивала меня о герцогине Германтской и любила, чтобы я ходил к ней за советами относительно дамских туалетов. Правда, я мог бы попросить этих советов и у г-жи Сван, я даже раз написал ей об этом. Но мне казалось, что герцогиня Германтская довела до еще большего совершенства искусство одеваться. Если, удостоверившись предварительно, что она дома, и попросив, чтобы в случае возвращения Альбертины

мне тотчас об этом дали знать, я на минуту спускался к герцогине и заставлял ее окутанной, как облаком, пеленой серого платья из крепдешина, я принимал это зрелище, чувствуя, что оно обусловлено причинами сложными и не могло бы быть изменено, я упивался излучаемой им атмосферой, оно напоминало мне иные вечера, подернутые серовато-жемчужной дымкой легкого тумана; если же, напротив, домашнее платье герцогини было китайским, если оно горело желтыми и красными огнями, я смотрел на него как на яркий закат; туалеты этой женщины не были случайным украшением, которое можно произвольно заменить другим, но непреложной поэтической реальностью вроде погоды, вроде особого освещения, свойственного определенному часу дня.

Из всех платьев и пеньюаров, которые носила герцогиня Германтская, как будто наиболее отвечали определенному намерению, больше всего были наделены специальным значением туалеты, изготовленные Фортюни по старинным венецианским рисункам. Исторический ли их характер или же, скорее, то обстоятельство, что каждый из них уника, придают им такое своеобразие, что поза наряженной в них женщины, поджидающей вас или с вами разговаривающей, приобретает значение исключительное, как если бы

костюм ее являлся плодом долгого размышления, а ваш разговор с нею был оторван от повседневной жизни, словно сцена романа. Мы видим, как героини Бальзака нарочно надевают то или другое платье в день, когда им предстоит принять определенного гостя. Теперешние туалеты лишены такой выразительности, за исключением платьев работы Фортюни. В описании романиста не должно содержаться ни малейшей неопределенности, потому что платье это действительно существует и ничтожнейшие его узоры так же естественно положены на нем, как орнамент на произведении искусства. Надевая то или другое, женщина должна была сделать выбор не между почти одинаковыми нарядами, но между глубоко индивидуальными платьями, каждое из которых можно было бы назвать. Но платье не мешало мне думать о женщине.

Сама герцогиня Германтская казалась мне в ту пору более приятной, чем во времена, когда я еще любил ее. Ожидая от нее меньше<sup>13</sup>, я почти со спокойной беззаботностью, — которую испытываешь, когда остаешься совсем один, протянув ноги к камину, — слушал герцогиню, словно читал книгу, написанную на старинном языке. Ум мой был достаточно свободен, чтобы

---

<sup>13</sup> Я больше не посещал ее ради нее самой.



наслаждаться в ее речах тем чисто французским изяществом, какого не найти больше ни в современном разговоре, ни в современной литературе. Я слушал ее речи как милую народную песенку, насквозь французскую, мне были понятны ее насмешки над Метерлинком<sup>14</sup>, так же как были понятны насмешки Мериме над Бодлером, Стендаля над Бальзаком, Поль-Луи Курье над Виктором Гюго, Мельяка над Малларме. Я отлично понимал, что мысль насмешника гораздо ограниченнее мысли того, над кем он насмехается, но словарь его чище. Словарь герцогини Германтской, почти в такой же степени, как и словарь матери Сен-Лу, был восхитительно чист. Не в холодных подделках современных писателей, говорящих: на деле<sup>15</sup>, особенно<sup>16</sup>, удивлен<sup>17</sup> и т. п., и т. п., мы вновь находим старый язык и правильное произношение, но разговаривая с людьми, вроде герцогини Германтской или Франсуазы; еще в пять лет я узнал от последней,

---

<sup>14</sup> Которым, впрочем, она теперь восхищалась, по слабости женского ума, чувствительного к литературным модам, воспринимаемым широкой публикой с некоторым запозданием.

<sup>15</sup> Вместо в действительности.

<sup>16</sup> Вместо в частности.

<sup>17</sup> Вместо ошеломлен.

что нужно говорить не Тарн, а Тар; не Беарн, а Беар. Поэтому в двадцать лет, когда я стал бывать в свете, для меня не было открытием, что не следует говорить подобно г-же Бонтан: мадам де Беарн.

Я солгал бы, сказав, что герцогиня не сознавала этого сохранившегося у нее почвенного и как бы крестьянского элемента и не выставляла его на показ с некоторой рисовкой. Но с ее стороны это были не столько напускная простота знатной дамы, разыгрывающей роль деревенской жительницы, не столько надменность герцогини, насмехающейся над богатыми дамами, которые презирают крестьян, не зная их, сколько почти художественный вкус женщины, сознающей прелесть своих природных качеств и не желающей портить их современной дешевкой. Та же манера, что, как известно, свойственна была одному нормандскому ресторатору в Диве, владельцу «Вильгельма Завоевателя», который удержался — вещь столь редкая в наше время — от соблазнов внести в свое заведение современную роскошь и, ставши миллионером, сохранял говор нормандского крестьянина, продолжал носить крестьянскую блузу и пускал своих клиентов на кухню, где они могли видеть, как он собственноручно стряпает обед, точно в деревенской харчевне, что нисколько не мешало этому обеду быть бесконечно лучше и стоить гораздо дороже обедов в самых больших

дворцах.

Локальной сочности, свойственной старым аристократическим фамилиям, однако мало, нужно еще, чтобы кто-нибудь из их представителей оказался достаточно умен и не презирал бы эти унаследованные от предков особенности, не затушевывал их светским лоском. Герцогиня Германтская, усвоившая, к несчастью, остроумие парижанки и в период моего знакомства с нею удержавшая от своей родной почвы только выговор, все же, изображая свои девические годы, умела находить для своего языка один из тех компромиссов<sup>18</sup>, которые составляют прелесть «Маленькой Фадетты» Жорж Санд и некоторых легенд, изложенных Шатобрианом в его «Посмертных мемуарах». С особенным удовольствием слушал я, как она рассказывала эпизоды, когда ей приходилось соприкасаться с крестьянами. Древние имена, старинные обычаи сообщали этим соприкосновениям замка и деревни какой-то особенный смак. Сохраняя общение с землями, на которых ей некогда принадлежала верховная власть, часть аристократии остается областной, так что самая простая фраза, сказанная

---

<sup>18</sup> Между тем, что показалось бы слишком грубым провинциализмом, невольно сорвавшимся с уст, с одной стороны, и искусственной книжностью, с другой.

иным аристократом, развертывает перед нашими глазами целый кусок исторической и географической карты Франции.

Если бы сюда не вносилось никакой нарочитости, никакого стремления фабриковать свой особый язык, то эта манера произношения являлась бы настоящим словесным музеем французской истории. Выражение «мой двоюродный дедушка Фитт-жам» не заключало в себе ничего удивительного, ибо известно, что Фитц-Джемсы любят заявлять о своей принадлежности к французской знати и не желают, чтобы их фамилию произносили по-английски. Но поистине удивительна трогательная покорность, с какой люди, считавшие до сих пор своим долгом произносить некоторые фамилии согласно требованиям грамматики, вдруг — услышав, как герцогиня Германтская произносит их иначе — делались рьяными защитниками произношения, о возможности которого они даже не подозревали. Так, герцогиня, один из прадедов которой был приближенным графа Шамборского, любила дразнить своего мужа за то, что тот стал орлеанистом, заявляя: «Мы старые сторонника Фрошдорфа». Посетитель, считавший до сих пор, что его произношение «Фросдорф», совершенно правильно, круто менял свои убеждения и беспрестанно повторял: «Фрошдорф».

Однажды, спросив у герцогини Германтской, кто такой изящный молодой человек, которого она представила мне как своего племянника и фамилия которого была плохо мной расслышана, я разобрал эту фамилию ничуть не лучше, когда из глубины своей глотки герцогиня очень громко, но нечленораздельно выбросила: «Это м... и... Эон... з...ять Робера. Он воображает, будто у него форма черепа древних кельтов». Тогда я понял, что она сказала: это маленький Леон, то есть принц Леонский, действительно зять Робера де Сен-Лу. Не знаю, действительно ли у него такой череп, — продолжала она, — но, во всяком случае, свою манеру одеваться, впрочем, очень элегантную, он заимствовал не у кельтов. Однажды, когда в Жослене, у Роганов, мы пошли оттуда с крестным ходом, в котором участвовали крестьяне почти из всех частей Бретани, какой-то деревенский верзила из Леона вытаращил глаза на коричневые штаны зятя Робера. «Что это ты уставился на меня? Держу пари, ты не знаешь, кто я такой», — сказал ему Леон. Крестьянин признался, что он действительно не знает. «Так знай: я твой принц». «Вот как! — отвечал крестьянин, обнажая голову и извиняясь, — а я вас принял за англичанина».

И если, пользуясь этим предлогом, я начинал расспрашивать герцогиню Германтскую о

Роганах<sup>19</sup>, речь ее насыщалась меланхолической прелестью бретонских крестных ходов и, как сказал бы Пампиль, этот подлинный поэт, «терпким вкусом гречневых блинов, испеченных на хворосте утесника».

Рассказывая о маркизе дю Ло<sup>20</sup>, герцогиня останавливалась на менее трагических годах его жизни, когда, после охоты в Германте, он выходил к вечернему чаю с английским королем в ночных туфлях, так как не считал себя ниже рангом и с королем не церемонился. Герцогиня рассказывала об этом так красочно, что наделяла его мушкетерскими жестами, свойственными немного кичливым дворянам из Перигора.

Впрочем, уметь тщательно оттенять различие между провинциями даже при самой поверхностной характеристике людей сообщало герцогине Германтской, остававшейся в таких случаях непосредственной, большую прелесть, которой никогда не способна была бы приобрести прирожденная парижанка, и простые имена: Анжу, Пуату, Перигор, воссоздавали в ее разговоре пейзажи.

---

<sup>19</sup> С которыми ее предки часто роднились.

<sup>20</sup> Печальный конец которого, когда, глухой, он велел приносить себя к ослепшей г-же Г..., общеизвестен.